

Василий Аксенов:

# Литпроцесс со мной разминулся

Известия. — 1999. — № 905. — С. 10

Василий Аксенов — фигура легендарная. Его проза стала литературным знаком целой эпохи; без нее невозможно представить себе жизнь по крайней мере двух поколений — 60-х и 70-х годов. Как выстраивает Аксенов свои отношения с новым временем? Каково живется ему «на два дома» между Россией и Америкой?

— Фактически вы живете на две страны. Здесь вы, понятно, ощущаете себя известным русским писателем. А там, в Америке?

— Это в Америке я себя ощущаю русским писателем. А здесь... Черт его знает. Может, американским?.. Не вписываюсь я в здешний литературный процесс. Как-то мы с ним разминулись. Дело не в читателях — оно то у меня есть. И даже не в критиках, которые вроде не слишком меня и ругают. Относятся с уважением. Ну, как к мамонту. Я расхожусь с литераторами, с литературной тусовкой, с теми, кто нынче блудет литературный вкус. Я для них чужой — и они правы. Даже в среде друзей литературных я чувствую, что они уже не до конца меня считают своим.

— А раньше у вас разве не наблюдалось трений с литпроцессом? Само понятие «литературный процесс» — это ведь из области сореализма. С каковым, если мне не изменяет память, у вас были отношения замысловатые...

— И тем не менее тогда я был активный участник процесса. Такой возмутитель спокойствия... В Америке я еще несколько лет продолжал дышать прежним воздухом — когда писал, например, свою любимую вещь — «Бумажный пейзаж», — все еще чувствовал себя на улицах Москвы. А потом стал уходить, уходить, удаляться — не было ведь надежды не то что вернуться, а хотя бы кого увидеть. Когда стал приезжать — поначалу были восторги. Но они относились к прежнему Аксенову. А я уже «подруга» — меня почти не волнуют ни политические, ни социальные аспекты литературы, идеологическую заостренность я ненавижу любую. Язвы человека и человечества мне интереснее, чем язвы режимов. А такого Аксенова многие не в состоянии принять. Я еще пытался найти какие-то пути к воссоединению. Но — время прошло, я его догонять не могу и не хочу.

— Для вас это болезненное ощущение?

— Теперь я уже просто констатирую. Так — так так.

— А среди американских писателей — вы себя чувствуете своим?

— В Америке у меня есть репутация, о моих книгах много пишут, с большим почтением. «Это писатель, который нам подарил «Generation of Winter» (так у них называется «Московская сага»). Вопрос — кем себя считаю я сам? Литературным эмигрантом. Бродягой. Космополитом. Мне ближе всего те люди, которые принадлежат к этому племени... Я сейчас был в Греции, на Родосе, там шла конференция — «Литература в ссылке». Кого только не было — иранцы, живущие в Швеции, поляки, румыны... В прошлом году в Оттаве тоже была конференция. И вот мы сидим, группа писателей, ужинаем. Кричим, выпиваем, спорим — турок с Кипра, живущий в Штатах, один пакистанец из Техаса, двое из Тринидада, итальянец, живущий в Канаде, рус-

ский — такая вот компания. Для меня — самая лучшая.

— Лучше той московской, что окружала вас в конце 50—60-х годов?

— Стоп! Это — запрещенный прием.

— Я просто хотел обратиться к тем баснословным теперь временам, когда начинали многие «шестидесятники» — вы в том числе. Давид Самойлов как-то заметил, что вы утверждали не новые идеи, а новый стиль...

— Абсолютно согласен. Хотя достаточное число лиц у руля воспринимало новый стиль именно как «идею», причем «вражескую». Это были времена такого романического подъема. Мы считали себя авангардом. А авангард, кстати, — всегда массовое явление. Ты не один. Ты в группе. Авангардом были не только Гладилин, я, Белла... — но и, например, Юра Казаков. Несмотря на то, что он был ближе к деревенщикам, традиционалистам. У него играл джаз — и прямым, и переносным образом. Он был свинговый автор — «Трали-вали», «Осень в дубовых лесах»... К тому же он и сам был контрабасистом.

С этим авангардным движением долго не могли ничего поделать. Придущими абстракционистами — так разгорается бардовская поэзия. Барды разогнали — в подвалах джаз заиграл. Джаз придиши — в кино новая волна пошла... Сейчас здесь можно свободно утверждать, какие угодно идеи — вплоть до фашистских, а такого массового движения не видать. Несмотря на все благоприятные обстоятельства.

— А такие ли уж они благоприятные? Ведь не преследуют...

— Может, вы и правы. Нет такого ощущения братства по оружию. С другой стороны — вдох-

новения нет массового, а есть выдохновение. Не вдох, а выдох. Слишком много грязи в легких осталось. Поэтому когда мне говорят: ах, постмодернизм, новые горизонты! — тихо думаю: какой же это постмодернизм? Постсовковизм! А «новые горизонты» — так момент деконструкции реальности присутствовал, простите, еще в моих сочинениях — самых ранних.

— А как, кстати, вы сейчас к нему относитесь?

— С улыбкой. Для меня это детский сад.

— А на чем он кончается? На какой вещи?

— Наверное, на «Пора, мой друг, пора». Такой молодежный роман. Иногда еще перечитываю «Апельсины из Марокко».

— А «Звездный билет», самую знаменитую вашу повесть?

— Почти нет. Довольно искусственное сочинение. А потом началась школа: «Затоваренная бочкотара», «Золотая наша железка»... «Поиски жанра» — это, пожалуй, аттестат зрелости. А дальше — «Ожог», «Остров Крым» — уже поближе ко мне нынешнему.

— В первые постперестроечные годы многие здешние писатели испытывали жестокий творческий кризис...

— Естественно. Развалился довольно уютный дом. Хотя и вонючий, но уютный. А я-то был вне этого дома.

— Ну и что же?

— Представьте, с вами в квартире живет монстр, которого вы вынуждены терпеть, но постоянно вынуждены терпеть. И вдруг его нет. Я думал, куда же деваться с моей саркастической интонацией? Хоть и съездил уже в Москву, а в перестройку что-то не верил, все ждал 19 августа 91-го. Ощущал — вот-

вот, назревает. И когда разразилось, подумал: конец, еще как минимум на 10 лет. Но слава Богу...

А вообще было так. В 90-м я приехал в Западный Берлин, взял машину и двинул по странам бывшего соцлагеря. Сначала переехал в Восточный Берлин. Столько раз я здесь бывал, даже драпанул однажды, в 77-м, в Западный Берлин, а оттуда в Париж. И вдруг спокойно пересекаю в обратном направлении эту зловещую границу, въезжаю в разгромленный коммунизм... Наутро увидел советское посольство, а там огромная белая башка Ильича и те же фигуры на постаменте — пограничник, металлург, доярка... — и тут подумал: конец, больше этого не будет, конец нашему времени вообще. Всей моей молодости, борьбе...

— Загрустили?

— О да! Странно, не правда ли?.. Варшава — мрачная, грязная, голодная. Пошел к зданию ЦК ПОРП. Оно было пустое, заколоченное досками, вороньи кружили внутри. Заглянул в окно — пустой огромный зал, в центре которого возвышалась груда разноцветных телефонов с обрезанными проводами. Как черепа на картине Верещагина. И никакого торжества я не испытывал — наоборот, дикое уныние...

— Неужто пересмотрели отношение к социализму?

— Ну уж я вам не Зиновьев какой-нибудь для таких кульбитов! Просто — была стена, и ее не стало. Причем без всякой твоей застуки. И не во что колотиться лбом... Режим сам себя пожрал, это миф, будто за этим стояли усилия диссидентов и эмигрантов. Еще в 80-е годы мы говорили: почему никто из братьев-эмигрантов не создает политическую партию? Вот и оказались совер-

шенно не подготовленными, когда разразилось. А ведь кое-кто, хоть Буковский, не замкнулся он в гордом презрении, мог бы играть свою роль в России, противостоя коммунистам и антикоммунистам-бюрократам. И такие, как я, его бы наверняка поддержали.

— Россия продолжает фигурировать в ваших сочинениях?

— То, что я пишу, очень странно по жанру. Действие происходит на странном архипелаге под

названием Кукушкины острова. Он вроде бы в Тихом океане, на уровне Гавайских островов. В общем, Кавказ, конечно... Я был этим летом в Пятигорске, накануне августа, и многое вызвано этими впечатлениями. Ужасающее состояние постоянного страха у людей. Эти чеченские бандиты хотят всем внушить, что они — раса господ, хозяева Кавказа. Я не стану пересказывать роман, тем более не в война за независимость.

Леонид БАХНОВ

